

ЛЮДМИЛА КИСЕЛЁВА

## ДВА ЮБИЛЕЯ

(Шевченко и Клюев)

9 марта 2014 года весь культурный мир отмечает 200-летие украинского гения Тараса Шевченко. И в этом же году, 22 октября, исполняется 140 лет с того дня, как в одной из деревень Олонецкой губернии родился великий русский поэт Николай Клюев. Дата не столь “круглая”, однако символичная: столетие поэта плюс сорок лет пустынных блужданий потомков к “земле обетованной” клюевского “жизнедательного глагола”... **“Грянет час, и к мужицкой лире / Припадут пролетарские дети”**, – пророчествовал Клюев, предвидя ещё в 1920 году своё будущее: “сердце-розу, смятую в Нарыме” и мученическую смерть (“Миновав житейские версты...”). А дети нынешнего “компьютерного” поколения – припадут ли к “мужицкой лире”? Захотят ли искать “тропинки междустрочий”, ведущие к “слову пододонному” – клюевскому “Китежу подводному”, царству небывалого стиха: “Где в запятых голосят петухи, / Бродят коровы по злачным тире, / Строки ж глазасты, как лисы в норе”?

Как сегодня Россия помянет своего “олонецкого ведуна”, “Аввакума XX столетья”, “непомерного Клюева”? “Расплетут ли девушки косы, / Старцы воссядут ли у ворот?...” – с такими несвоевременными “смертельными думами” встречал поэт в 1919 году “поминальный день – память расстрелянных рабочих” (“Чернильные будни в комиссариате...”). Нам же неизвестна даже точная дата расстрела Клюева... “И выстрел – в звёзды или в темя? / Кольцо Светланы точит время, / Но есть ребячий городок...” (“Я человек, рождённый не в боях...”). Где же тот “светлый внук”, вымечтанный Клюевым? Приникнет ли он в своей “келье поэта” к “упорной странице”, с которой “та же бездонная Русь / Глянет...?” Или клюевская дата будет отмечена лишь литературными посиделками и “старуха-критика запишет / В поминанье горестное имя”?

Невольно вспоминаются строки Клюева: “Никто не слышит ветродушной / Дуплистой и слепой **кобзы**”. Похожие слова находим у Шевченко: “Оглухли, не чуют”, – то есть не слышат... Его кобзарь, Перебендя так же одинок среди людей: “Його на сім світі ніхто не прийма. / Один він між ними, як сонце високе”. Лишь с морем и солнцем, степными могилами и ветром беседует кобзарь – они-то слышат, как его “сердце щебечет Господню славу...” Символический портрет Перебенди – клюевская “ветродушная кобза”, “дуплистая и слепая”, которой никто из людей не слышит, ибо говорит она языком стихий и “Божьим словом”. Уподобляя себя старому лесному ручью, Клюев пишет: “Его **кобза** журчит “люблю” / На всю кедровую опушку...” Наконец, в поэме “Кремль” окончательно удостоверена прозрачная генеалогия “мужицкой лиры”:

*Тарас Николе, как собрату,  
Ковыльную вверяет кобзу! —  
И с жемчугом карельским розу  
Подносит бахарь Украине!*

Украинская земля помнит Клюева: именно здесь была написана его знаменитая “Погорельщина” — единственное в наследии поэта творение, помеченное не только датой, но и местом создания: “День Покрова Пресвятой Богородицы. 1928. **Полтава**”. Здесь родились обжигающие душу строки: “Это последняя Лада, / Купава из русского сада... <...> Вы же, кого я обидел / Крепкой кириллицей слов, / Как на моей панихиде, / Слушайте повесть о Лидде — / Городе белых цветов!” Не эту ли “повесть” о “городе-розане” Клюев назвал “**розой**”, поднесённой Украине? Возможно, поэт находился среди тех паломников, которые летом и осенью 1928 года съезжались на Полтавщину (как отмечала тогдашняя пресса, “не только из Москвы, но и с Дальнего Востока”) в связи с так называемой “эпидемией чудес” (кровоточивыми иконами и крестами, всенародными покаянными “походами” к открывшимся святыням и местам чудотворений)\*. Мощное религиозное движение, охватившее Полтавщину, повсеместные пророчества, чудесные “видения” грядущего смертоносного голода и ожидание “конца света” — всё это нашло отражение в “Погорельщине” (“кровоточивый Спас”, эпизоды голода и людоедства, гибель “деревни Сиговой Лоб” и трагедия “Великого Выга”, символизирующего обречённую крестьянскую культуру).

Об украинских контекстах “Погорельщины”, о значении в этой поэме образа “зозули”, о народных песнях про девушку Настю “на вербовой дощечке” и про вербу (“Ой, верба, верба, где ты росла? — Твои листыньки вода снесла!..”); о скрытых и явных фольклорных цитатах, этнографических деталях, связанных с Украиной, в ряде других произведений Клюева следовало бы говорить отдельно и подробно... Но в связи с “двумя юбилеями” важно перво-наперво задуматься над тем, что сближает “мужицкую лиру” Клюева с бессмертной “кобзой” великого Кобзаря Украины.

Об этой близости говорили современники уже в первый период творчества Клюева; внешнее сходство с Шевченко позволяло порой принять поэта за украинца: “подумал, что хохол, — усы, улыбка... хохлацкие”, — таким было первое впечатление писателя Б. А. Лазаревского от появления Клюева в “Ежемесячном журнале” (с. 110)\*\*. А услышав стихи этого “хохла”, принятого им за “кучера”, Лазаревский был потрясён, да и не он один: “Миролюбов плакал... Чуть не заплакал и я”. Борис Лазаревский вырос в семье, тесно связанной с Тарасом Шевченко, и был воспитан на культе Кобзаря. **“Кроме Лермонтова и Шевченка, поэтов почти не чтущий”**, он так был очарован услышанным, что записал в дневнике: **“Великорусский Шевченко этот Николай Клюев, и наружность, как у Шевченка в молодости”** (с. 109). С годами внешнее сходство не исчезало; много позже юный художник Анатолий Кравченко, впервые увидев Клюева на выставке “куинджистов”, сразу отметил, на кого похож этот “пожилой человек с бородой”, одетый “в свитку”: “вроде Шевченко в ссылке” (с. 457). А стоило услышать стихи “великорусского крестьянина с наружностью Т. Г. Шевченко” (с. 658), как впечатление внешнего сходства дополнялось ощущением глубинного внутреннего родства: “Написано кровью. Такая сила, величественность, что поражаешься, слушая”, — так передал своё восприятие клюевского чтения Анатолий Кравченко (с. 430). “Не чтение, а музыка, не слова, а Евангелие, — восхищался Борис Лазаревский, почёркивая уникальность клюевской поэзии. — Как нельзя перевести Шевченка ни на один язык, даже на русский, сохранив все нюансы, так нельзя перевести и Клюева” (с. 109).

\* Подробно об этих событиях и возникшем в те годы украинском народном религиозном эпосе см.: Кисельова Л. Текст в історії, історія в тексті: до генези мотивів кривавого хреста й голоду в українському фольклорі та літературі 1920-х років / Л.Кисельова/ / Людина в часі-2 (філософські аспекти української літератури ХХ-ХХІ ст.) К., Універ.вид-во ПУЛЬСАРИ, 2001. С. 52-85.

\*\* Здесь и далее цитируем воспоминания современников, указывая в скобках страницу издания: “Николай Клюев. Воспоминания современников”. М., “Прогресс-Плеяда”, 2010.

Неслучайна эта ассоциация с музыкой и сакральным текстом: Клюев неоднократно рассказывал о том, что в юности был “Давидом” хлыстовского ко-рабля – слогал стихи-песни для братии. Автор “Братских песен” упомянул позднее в своём автобиографическом очерке “Гагарья судьбина” о том, как “недоростком”, забредя в Ясную Поляну с мужиками-скопцами и “пророками”, читал Толстому “один из моих самых ранних Давидовых псалмов”\*.

Неважно, насколько достоверны эти сведения, – само словосочетание “Давидовы псалмы” вызывает в памяти одноимённый цикл Тараса Шевченко, созданный в ту пору, когда участники Кирилло-Мефодиевского братства считали молодого поэта своим “Давидом”.

Из 150 пронумерованных и одного “вне числа” церковных псалмов Шевченко избрал 10 (словно Декалог Моисеев), начиная 1-м и завершая 149-м. Последний псалом сводит воедино ключевые мотивы и образы всего цикла, обретая особое символическое значение (именно этот псалом Шевченко позднее вложит в уста героя своей поэмы “Неофиты”: Алкид поёт его, идя на казнь). Мотив “**нового псалма**”, воспеваемого Господу “**сердцем нелукавым**”, созвучен духовным ориентирам, очерченным в псалме 1: “**Блаженный муж на лукаву не ступає раду**” (“Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...”).

Знаменательно, что и в ранних “песнях” Клюева этот мотив – один из ключевых: “Мы блаженны, неизменны... <...> Тайну Бога и Вселенной / В глубине своей храним”. Даже в голосах лесных птиц поэт различает слова начального Давидова псалма: “Дрозд пропел: “Блажен муж”...”

Шевченковский “кобзарь” вполне может быть назван “псалмопевцем”: так называемые “**псалмы**”, составлявшие основной репертуар украинских лириков и кобзарей, – это и народные перепевы из Книги царя Давида, и невольничьи “плачи”, и думы морализаторского содержания... Правда, украинский кобзарь – “**старец**”, что в переводе означает “**нищий**”. Поэтому Шевченко разъединяет традиционное определение Псалмопевца – “царепророк” – и создаёт свой “апокриф” о Давиде: истинного “кроткого **пророка**” убила обезумевшая толпа – и тогда **вместо** него Бог послал людям царя... Пророк для Шевченко – всегда страдалец, великомученик, такова же участь истинного поэта: “кротким пророком” предстаёт и Лермонтов (названный “великомучеником святым”), и безымянный герой поэмы “Тризна”. “**Кротким пророком и обличителем жестоких**” называет Шевченко писательницу Марко Вовчок, и даже Пресвятую Богородицу изображает вдохновительницей апостолов, развеявшей их “уныние и страх... своим святым огненным словом”... Но поскольку “кроткий пророк” неизбежно страдает и нищенствует, такой же судьбой наделяет Шевченко героиню поэмы “Мария”: отпустив учеников Христа проповедовать “любовь и правду” по всему миру, Пречистая Дева кротко и смиренно умирает голодной смертью под тыном, в бурьяне...

“**Стариком, в лохмотья одетым**” и взывающим к милосердию недавних друзей – таким описал себя Клюев в стихотворении начала 1920-х годов: “За стеною Кто и Незнаю / Закинут невод в Чужое... / И вернусь я к нищему раю, / Где Бог и Древо печное”. Однако и “нищий рай” был отобран; в 30-е годы, оказавшись в ссылке, Клюев христарадничал на базарах и на паперти: “Я так нищ, что оглядываясь на себя, удивляешься чуду жизни – тому, что ты ещё жив. <...> Но как ветром... пахнёт иногда в душу цитра золотая, нищетою богатая!”\*\* Мотивом “цитры золотой, нищетою богатой”, которая захватывает дух “неизглаженной музыкой”, пронизано это письмо из сибирской ссылки. Клюев подчёркивает смысл и достоинство такой “нищеты”, цитируя тропарь Роману Сладкопевцу: “Се питаеши красными песнопениями помыслы наши и пополняеши сладости божественные – **паче всего богатства мира, пищи и питья тленных!** Цитра золотая, нищетою богатая!”

Связь “красных песнопений” с пополнением “божественных сладостей” проясняет ключевое понимание “псалмопения” как Богообщения, источника новых возможностей и знаний. Об этом свидетельствует небольшая поэма 1916 года “Поддонный псалом” (первоначальное заглавие – “Новый псалом”). В центре запредельных видений, метаморфоз, откровений и пророчеств – словесное озарение “псалмопевца”: “О Боже Сладостный, ужьель я в малый

\* Клюев Н. А. Словесное древо. Проза. СПб, 2003. С. 37.

\*\* Из письма Н. Ф. Христофоровой, написанного в Томске 25 октября 1936 года (Клюев Н. А. Словесное древо. Проза. СПб, 2003. С. 382).

миг / Родимой речи таинство постиг, / Прозрел, что в языке поруганном моём / Живет Синайский глас и вышний трубный гром?!”

Молодой Шевченко также называл свои стихотворения “псалмами”, тем самым определяя их участь и собственную судьбу: **“Насміються на псалом той, що виллю слюзами”**. Ибо и Давида гонят люди с насмешкою: “привитай по горам яко птица” (Пс. 10:11), и кобзарю Перебенде приходится таить свои самые сокровенные псалмы, “Божье слово”, которого люди не приемлют:

*На Божєє слово вони б насміялись,  
Дурним би назвали, од себе прогнали.  
“Нехай понад морем, — сказали б, — гуля!”*

Пророк **блаженный** (что означает также “юродивый”), пророк **осмеянный**, изгнанный людьми, непонятый, избиваемый камнями, — всё это, бесспорно, архетипный комплекс значений. У Шевченко и Клюева можно выделить общий важный мотив: “Божьему слову, которого не слышат люди, жадно внимлет весь тварный мир. “Тихое, благое слово” Перебенди умиротворяет стихии — ветер ложится у ног кобзаря, чтобы его послушать, а затем “размахать” по полю услышанные слова; “чёрную гору” старик учит разговаривать, спрашивает: “Отчего ты немая?” И природа перенимает от поэта его “псалмы”, становясь, по слову Клюева, **“псаломогорьем”**: “Там, псаломогорьем, / Звон и чаек крик, / И горит над морем / Мой полярный лик”. Земные стихи, звери и птицы, даже малые травы участвуют в “псалмопении”, и мир, пронизываемый божественным глаголом, одухотворяется: “Прослезилася смородина, / Травный слушаая псалом”.

Закономерно, что Давида Клюев воспринимал как явление неземного, космического масштаба: назвав пророка Аввакума “первым поэтом **на Земле**, глубиной глубже Данте и высотой выше Мильтона”, он ставит “огненное имя” **“после Давида царя”** (божественного, “небесного” поэта). “Космические” образы Клюева, его поразительно смелые метафоры нередко обнаруживают прямую связь с творениями Псалмопевца:

*Распростёрлось небо рваной кожей, —  
Где ж игла и штопальная нить?  
Род людской и шила недомыслил,  
Чтоб заплатать бездну или ночь...*

Источником этих образов является текст псалма 103: “Простираяй небо яко кожу... <...> бездна яко риза одеяние ея...”

Многочисленные библейские аллюзии, образные и стилистические заимствования, ключевые мотивы Священного Писания либо исторические параллели пронизывают тексты обоих поэтов. Некогда М. Драгоманов заметил, что Шевченко неизменно обращался к Библии в поисках “духа народолюбивого пророчества”, — то же можно сказать о Клюеве. При этом ни один, ни другой поэт не идеализировал современный ему народ. В грозных инвективах Кобзаря “люди-небораки”, готовые отдать родную мать “за шмат гнилої ковбаси”, столь же безнадежны, как и в горьких клюевских стихах: “Святорусский люд тѣмен разумом, / Страшен косностью, лют обычаем; <...> Перед сильным — червь, он про слабого / За сивухи ковш яму выроет...” И всё же: “Нет прекраснее народа...” Лишь с народной душой связывали оба поэта нерукотворный Лик Истины. **“Свите Тихий!”** — так обращается к своему народу Шевченко. И Клюев пишет: **“Свете Тихий”** от народного лика / Опочил на моих запятых и точках”. В заключительных строках поэмы “Мария” Шевченко, отвергая изображение порфиросной Царицы, указывает на глубоко сокрытый, неизъяснимый Лик Скорбной Матери, запечатлённый в душах Её убогих детей: “А Ти... / Мов золото в тому горнилі, / В людській душі возобновилась, / В душі невольничій, малій, / В душі скорбящей і убогій”.

Пожалуй, главное, что родни Шевченко и Клюева, — это связь их художественного мышления с могучей образной и речевой стихией Библии, церковнославянских богослужебных текстов и народной духовной поэзии; яркий национальный колорит “пророческой” поэтики, соединение фольклорных мотивов с ветхозаветными и новозаветными, контаминация языческой и христи-

анской символики. Так, у Шевченко в стихотворении “Ісаія. Глава 35” органично соединены украинский пейзаж и библейские топонимы; “весёлые сёла” и “святой омофор”, подшитый “добром и волею”; простонародная лексика и церковнославянизмы; текст ветхозаветного пророчества и цитаты из Акафиста Пресвятой Богородице. У Ключева в “Песни о великой матери” соприкасаются и взаимодействуют разновременные гетерогенные пласты народной культуры: купальские хороводы и “строительная жертва” сосен; “в день Купалы звон на Кихах многоглавых”; заговоры шамана и молитвенное правило; тотемический “медвежий” мотив и оживающие святые иконы...

Подобно Шевченко, Ключев обращается к своим “и мёртвым, и живым, и неродившимся” соотечественникам, обвиняя, предостерегая, взывая к исторической памяти. Такова поэма “Деревня”, обрамлённая своеобразным закланием: “Будет, будет стократы...” (что также напоминает пророческие слова Кобзаря: “і світ ясний, не вечірній / Тихо засіяє”). Ведь родная земля — это кладовая Памяти, “книга народной судьбы”: **“в земле наших книг страницы...”** Не только исторические события, но и чувства людей, их простые человеческие дела, радости и страдания, думы и песни навсегда впечатаны в облик родины, стали “памятью” самой природы: “Без ножа ему неволя / Кольца срезала кудрей, / Чтоб раздольней стало поле, / Песня-вихорь удалей. / Чтоб напева ветрового / Не забыл крещёный край... / Не шуми ты, мать-дуброва, / Думу думать не мешай!”

У Шевченко природа также пронизана памятью: могилы с ветром говорят о давно минувших днях; камыши спрашивают у Днепра, где и как полегли казачьи дети, которых оплакивает чайка; поля ржи и степная трава-тырса, днепровские пороги и синее море — всё исполнено памяти о том, “что деялось в Украине”. Деревья своим обликом напоминают “дедов”, их достоинство и былую славу: “Мов ті діди високочолі, / Дуби з Гетьманщини стоять...” Чернеющие, как горы, могилы украдкой беседуют “про волю” с ветрами. Именно на высокую могилу ходит кобзарь Перебендя, становясь посредником между “Божьим словом” и “словом” самой земли, утверждая истинность её свидетельств. Поэтому и в своём поэтическом завещании — стихотворении “Заповіт” — Кобзарь велел похоронить его “на могилі серед степу широкого”, чтобы он мог видеть и слышать голоса круч и старого Днепра, **событийствовать** жизни своей родной Украины и её детей. Шевченко назвал степной курган “свидетелем дедовской славы” и наделил его способностью не только рассказывать “внукам” о былом, но и пробуждать в них песенный дар:

*Свідок слави дідівської  
З вітром розмовляє,  
А внук косу несе в росу,  
За ними співає.*

Непрерывная духовная взаимосвязь природы и человека является отличительной чертой “земляной” культуры, по убеждению Ключева. Городская улица, оглушающая человека “каменным воем” и равнодушно глотающая “двуногие пальто”, имеет короткую память “асфальтовой мостовой” (“Погорельщина”). Иное дело — просёлочная дорога, прорастающая *несмертельной* Памятью: “Леса из бород и зубов, / Просёлочек из жадных зрачков, / Где мчится истории конь / На вещий купальский огонь”. И как бы ни были хороши и удобны асфальтированные шоссе, как бы ни проклинали любители комфортабельной езды “расхлябанные колеи” российской глубинки, самая идеальная магистраль неспособна вызвать то ощущение соприродности человека и дороги, о котором пишет Ключев: “У сибирских дорог есть уста и сосцы, / Их целует и пьёт забубённый народ... / Оттого ясноглазые Руси певцы / Любят хлебный румянец и липовый мёд...”

Земля, впитывая в себя духовный опыт неразрывно с нею связанных поколений, передаёт их думы и песни потомкам. Она хранит “песенный клад” вольного слова и незабытой славы, о чём писал Шевченко в “Разрытой могиле”. С этим “кладом” связан сквозной мотив ключевской поэзии — от “Застольного сказа” (1917) до “Песни о великой матери”, которую он создавал в последние годы жизни.

“Волшебный клад”, **“ключ от песни всеславянской и родной”** таится в человеческом сердце, пока это сердце не утратило живой связи с родной зем-

лэй. Не случайно “кобзу” Клюев называет “**дуплистой**” – о своём мировидении поэт говорит, используя тот же эпитет: “дуплистый глаз”. И уподобляет себя древнему дубу, в дупле которого хранится клад: клад в недрах земли – клад в сердце поэта. . .

Покидая землю и становясь ею (“Как зерно, залягу в борозды/ Новобрачной, жадной земли!”), “песнослов-баян” обеспечивает родной земле возможность расцвести “песенным лугом”, раскинуться “безбрежьем песенных нив”. Благодаря этому совершается некое непрерывное “таинство” постижения “родимой речи”, о котором писал Клюев в “Поддонном псалме”: “Аз Бог Ведаю Глагол Добра”... “Дуплистый глаз” поэта (“зелёное пастбище жизни”) и в земле продолжает свой труд, вовлекая стихии в процесс разумного сотворчества неба и земли. Небесная влага, орошающая “рыжее жнивье”, превращает его борозды в “древнюю вязь” – каждая капля под взглядом поэта становится живой буквой:

*О буквенный дождик, капай  
На грудь избяного поля!  
Глаголь, прораста васильками,  
Добро — золотой медуницей,  
А я обнимусь с корнями  
Землёю — болезной сестрицей!*

Естественно, что для Клюева (как и для Шевченко) поприще “**родимой речи**” является святотатством, влекущим за собой обезличение, “обезлюдение” как самой земли, так и живущего на ней народа: “Радонеж, Самара, / Пьяная гитара / Свилися в одно... / Мы на четвереньках, / Нам мычать да тренькать / В мутное окно!” Природа края, его история запечатлены в языке и отражены в облике носителя этого языка. Расторжение их взаимной связи, по убеждению Клюева, лишает достоинства и землю, и человека: “... баба пошла – прощальный обряд, – / Платок не по брови и **речью соромна**, / **Сама на Ояти, а бает Коломной...**”

Вспомним, как у Шевченко в поэме “Сон” лирический герой отвечает “землячку”, насмеяющемуся над “чудаком”, который не умеет в Петербурге и говорить “по-здешнему”: “Ба ні, – кажу. – / Говорить умію, / Та не хочу”. В “Песни о великой матери” мужика, ставшего солдатом-новобранцем, также насмешливо окликают: “Глядь, стрюцкий!” (т. е. никчемный, дрянной), пытаются увлечь его интернациональным призывом “Пролетарии всех стран...” Тот отвечает: “Не замай! Я не из стран – калуцкий!”

Приверженность “родимой речи” – не только признак человеческого достоинства, но и свидетельство внутренней гармонии, **лада**, без которого “светлый двор” земной родины, космические “Изба” или “Хата”, превращаются в “задворки Руси – матюги на заборе...” Ещё в начале 1914 года Клюев, отстаивая своё право на употребление диалектных слов и непонятных читателю образов, пишет редактору: “Перекроить эти образы и слова так, чтобы они были по плечу людям, знающим народ поверхностно <...>, – считаю за великий грех”. Такими словами, подчёркивает Клюев, народ “говорит со своей душой и природой”, они являются свидетельством речевой магии, “бытового народного колдовства”. Характерно, что поэт просит не принимать эти знаки “земляной” культуры “**только за олонецкие**”: они “держатся крепко, как я знаю из опыта, во всей северной России и Сибири”\*.

Не зря Есенин отмечал, что “олонецкий знахарь хорошо знает деревню”... Но впечатляет сама интонация Клюева, уверенность в своём культурном “первородстве”, голос “власть имеющего”. Если за плечами Шевченко стояла “слава козача”, культура украинского барокко, эпоха “Гетьманщины”, то Клюев происходил из того культурного оазиса, где сохранились древние традиции Руси. В этих краях были записаны былины Киевского цикла... Поэт неизменно подчёркивал свою связь с родным Заонежьем, называя себя “Николаем Олонецким”, “олонецким Лонгфелло”, “олонецким ведуном”. “Выходец с величавого Олонца”, как писал о Клюеве Мандельштам, выделил в поэме “Деревня” отличительный признак людей этого края: “**олончане песнями щедры**”. Гордясь своим происхождением, Клюев отмечал, что он му-

\* Из письма к В. С. Миролубову (см.: Клюев Н. А. Словесное древо... С. 217).

жик “особой породы”; духовными отцами своими считал “выговского Златоуста” Андрея Денисова и “прадеда Аввакума”, а культурную родословную вёл от “Александрии, Корсуня, Киева”... Речью, одеждой, устройством быта, в повседневной жизни и в литературном творчестве поэт утверждал свою кровную связь с поморской культурой: “Мой край, моё Поморье, / Где песни в глубине...”

До XV века Поморье принадлежало Новгородской республике; лесные чащи и болота спасли этот край от татаро-монгольского нашествия и от крепостного гнёта (ввиду отсутствия земель, необходимых для закрепощения крестьянства). Уникальным явлением культуры Заонежья стала Выгореция – “староверческие Афины”, своего рода крестьянская религиозная “республика”, где были созданы “Поморские ответы”.

Существует легенда о том, что знаменитые своей учёностью и красноречием братья Денисовы тайно обучались в Киево-Могилянской академии (косвенным подтверждением этого предания могут служить выговские “риторики”). Вызывает интерес и наблюдение современного искусствоведа: храмовые росписи олонецких церквей напоминают монументальную живопись украинских “казацких” соборов XVII столетия\*.

Возможно, углублённое компаративное исследование позволит выявить определённые генетические и типологические связи, которые обусловили органичность украинских мотивов в поэзии великого олончанина? Ведь Ключев ставит в один ряд “огненное имя” своего “прадеда” (“первого поэта на Земле”!) с именем легендарного казака-поэта, увековеченного в украинской народной живописи и фольклоре: “...вписать в житие Аввакумов, Мамаев, / Чтоб Бог не забыл чернососушную кость”, – собирательная символика подчёркивает “знаковость” этих имён. В другом стихотворении Ключев пишет о том, что Русь веками “слушала **акафисты да бунчуки казацкие**”, то есть вновь соединяет мотивы веры и жертвенной борьбы за волю и веру (“бунчук” – символ гетманской власти; ср. у Шевченко: “Де поділась воля-доля, бунчуки, гетьмани?”). Мечта о “воле-доле”, неистощимое упорство духа, неутомимая жажда красоты и справедливости – определяющие черты “земляной” культуры для Ключева. “Узорность” этой культуры, от “храмового строения” до деревянной ложки, засвидетельствована поэтом в мельчайших подробностях, причём и здесь встречаем украинские детали: “На узорной ложке сечня / Выплясывала “черевики”...”

Любопытно, что мотив возвращения “отлетевшей Руси” в стихотворении “Не буду писать от сердца...” завершается символическим образом варки чумацкого кулеша: “Под соборный звон сенокоса, / Чумаки в бандурном, родном, / Мы ключи и Стенькины плёса / Замесим певучим пшеном”\*\*

“Чумаки” упомянуты и в других ключевских текстах; в частности, ковшу Большой Медведицы Ключев даёт украинское наименование “Чумацький Віз”: звёзды “за окном **чумацким возом** / Пристали, осью везежа...” И если у Есенина читаем: “...дай дочерпать волю / Медведицей и сном”, – то у Ключева “сердце... пьёт сумерки ведёрцем, / Степную сыть – **чумацким возом**...”

Возможно, многочисленные маркёры “украинской темы” у Ключева связаны с его любовью к поэзии Шевченко, с восприятием Кобзаря как “собрата”, соприродного по стихии образного мышления? Творческое воображение “Велесовых внуков” наполняет мир тёплым животным дыханием – таков любовно “окрестьянный” космос Ключева, таков и поэтический мир Шевченко, в котором оживает даже невзрачный сухой куст: “із степу перекотиполе рудим ягняточком біжить / До річечки собі напитись...” Мир природы у Ключева и Шевченко безгрешен, непорочен; природа не нарушала Божьих повелений и сохраняет отблеск первозданного рая:

*Пливе місяць круглолиций,  
І мир первозданний  
Опочив на лоні ночі.  
Тільки ми, Адаме,*

\* Брюсова В. По Олонечкой земле. Путеводитель. М., 1969. С. 35.

\*\* “Варка песен”, как и в поэме “Четвёртый Рим”, означает высшую форму творчества – приготовление “пищи жизни, вселенского брашна” (ангелы в поэме “Белая Индия” тоже “варят из радуг еду...”).

*Твої чада преступніє,  
Не одпочиваєм  
До самої домовини  
У проспаним раї.*

В поезии Шевченко “месяц-князь” славянского фольклора “видел и Рось, и Альту, и Сену”, кровавые побоища древности и всё более жестокие людские распри. Пафосом всечеловеческого единения проникнут образ “обновлённой земли”, свободной от сатанинской злобы (“врага не буде, супостата”); “Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!” И Ключев, назвавший Гомера своим “древним братом”, мечтает о “всемирной песне” и пророчесствует: “Китай и Европа, и Север и Юг / Сойдутся в черты хороводом подруг...”

Но только неповторимость голоса и “лика”, уникальность национального опыта, полнота культурной идентичности обеспечивают поэту достойное место на мировых “песнотворческих пирах”. И Шевченко, чьё наследие воспринимается украинцами, как Библия; и Ключев, мечтавший стать “Буквенным Сирином” русской поэзии, воплощают национальное начало в истории человеческой культуры. Их объединяет любовь к своему “неоплаканному, родному” – к “окровавленной Отчизне”, за которую не жаль душу положить (“Я так її люблю, мою Україну убогу, / Що прокляну святого Бога, / За неї душу погублю”). “И первой песенкой моей, / Где брачной чашею лилея, / Была: “Люблю тебя, Рассея, / Страна грачиных озимей!”” – писал Ключев в своём **последнем** стихотворении. Такая любовь, уносимая за грань земного бытия, не может, не должна остаться безответной. Тем более что участь Ключева оказалась тяжелее, чем доля его великого украинского “собрата”: “. . . залить расплавленным оловом горло поэту – это похуже судьбы Шевченко”, – сетовал томский изгнанник в одном из писем конца 1935 года, менее чем за два года до расстрела. . . Как хотелось бы хоть в этот юбилейный год увидеть, наконец, памятник Ключеву в его родной Олонии!